





\* \* \*

*К. Шульженко*

А снег повалится, повалится,  
и я прочту в его канве,  
что моя молодость повадится  
опять заглядывать ко мне.

И поведет куда-то за руку  
на чьи-то тени и шаги,  
и вовлечет в старинный заговор  
огней, деревьев и пурги.

И мне покажется, покажется  
по Сретенкам и Моховым,  
что молод не был я пока еще,  
а только буду молодым.

И ночь завертится, завертится  
и, как в воронку, втянет в грех,

и моя молодость завесится  
со мною снегом ото всех.

Но, сразу ставшая накрашенной  
при беспристрастном свете дня,  
цыганкой, мною наигравшейся,  
оставит молодость меня.

Начну я жизнь переиначивать,  
свою наивность застыжу  
и сам себя, как пса бродячего,  
на цепь угрюмо засажу.

Но снег повалится, повалится,  
закружит все веретеном,  
и моя молодость появится  
опять цыганкой под окном.

А снег повалится, повалится,  
и цепи я перегрызу,  
и жизнь, как снежный ком, покатится  
к сапожкам чьим-то там, внизу...

1966



\* \* \*

Дорога в дождь — она не сладость.  
Дорога в дождь — она беда.  
И надо же — какая слякоть,  
какая долгая вода!

Все затемненно — поле, струи,  
и мост, и силуэт креста,  
и мокрое мерцанье сбруи,  
и всплески белые хвоста.

Еще недавно в чьем-то доме,  
куда под праздник занесло,  
я мандариновые дольки  
глотал непризнанно и зло.

Все оставляло злым, голодным —  
хозяйка пышная в песце

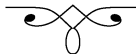
и споры о романе модном  
и о приехавшем певце.

А нынче — поле с мокрой рожью,  
дорога, дед в дождевике,  
и тяжелы сырые вожжи  
в его медлительной руке.

Ему б в тепло, и дела мало!  
Ему бы водки да пивца!  
Не знает этого романа,  
не слышал этого певца.

Промокла кляча, одурела.  
Тоскливо хлюпают следы.  
Зекает возчик. Надоело  
дождь вытряхать из бороды.

1959





## БЕЛЫЕ НОЧИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Белые ночи — сплошное «быть может»...  
Светится что-то и странно тревожит —  
может быть, солнце, а может, луна.  
Может быть, с грустью, а может, с весельем,  
может, Архангельском, может, Марселем  
бродят новехонькие штурмана.

С ними в обнимку официантки,  
а под бровями, как лодки-ледянки,  
ходят, покачиваясь, глаза.  
Разве подскажут шалонника гулы,  
надо ли им отстранять свои губы?  
Может быть, надо, а может, нельзя.

Чайки над мачтами с криками вьются —  
может быть, плачут, а может, смеются.  
И у причала, прощаясь, моряк

женщину в губы целует протяжно:  
«Как твое имя?» — «Это не важно...»  
Может, и так, а быть может, не так.

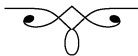
Вот он восходит по трапу на шхуну:  
«Я привезу тебе нерпичью шкуру!»  
Ну, а забыл, что не знает — куда.  
Женщина молча стоять остается.  
Кто его знает — быть может, вернется,  
может быть, нет, ну а может быть, да.

Чудится мне у причала неволью:  
чайки — не чайки, волны — не волны,  
он и она — не он и она:  
все это — белых ночей переливы,  
все это — только наплывы, наплывы,  
может, бессонницы, может быть, сна.

Шхуна гудит напряженно, прощально.  
Он уже больше не смотрит печально.  
Вот он, отдельный, далекий, плывет,  
смачно спуская соленые шутки  
в может быть море, на может быть шхуне,  
может быть, тот, а быть может, не тот.

И безымянно стоит у причала —  
может, конец, а быть может, начало —  
женщина в легоньком сером пальто,  
медленно тая комочком тумана, —  
может быть, Вера, а может, Тамара,  
может быть, Зоя, а может, никто...

*15 июля 1964*







\* \* \*

Нас в набитых трамваях болтает.  
Нас мотает одна маета.  
Нас метро то и дело глотает,  
выпуская из дымного рта.

В смутных улицах, в белом порханье  
люди, ходим мы рядом с людьми.  
Перемешаны наши дыханья,  
перепутаны наши следы.

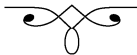
Из карманов мы курево тянем,  
популярные песни мычим.  
Задевая друг друга локтями,  
извиняемся или молчим.

Все, что нами открылось, узналось,  
все, что нам не давалось легко,

все сложилось в большую усталость  
и на плечи и души легло.

Неудачи, борьба, непризнание  
нас изрядно успели помять,  
и во взглядах и спинах — сознание  
невозможности что-то понять.

*Декабрь 1956*





## СМЕЯЛИСЬ ЛЮДИ ЗА СТЕНОЙ

*Е. Ласкиной*

Смеялись люди за стеной,  
а я глядел на эту стену  
с душой, как с девочкой больной  
в руках, пустевших постепенно.

Смеялись люди за стеной.  
Они как будто издевались.  
Они смеялись надо мной,  
и как бессовестно смеялись!

На самом деле там, в гостях,  
устав кружиться по паркету,  
они смеялись просто так, —  
не надо мной и не над кем-то.

Смеялись люди за стеной,  
себя вином подогревали,  
и обо мне с моей больной,  
смеясь, и не подозревали.

Смеялись люди... Сколько раз  
я тоже, тоже так смеялся,  
а за стеною кто-то гас  
и с этим горестно смирялся!

И думал он, бедой гоним  
и ей почти уже сдаваясь,  
что это я смеюсь над ним  
и, может, даже издеваюсь.

Да, так устроен шар земной  
и так устроен будет вечно:  
рыдает кто-то за стеной,  
когда смеёмся мы беспечно.

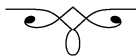
Но так устроен мир земной  
и тем вовек неувядаем:  
смеётся кто-то за стеной,  
когда мы чуть ли не рыдаем.

И не прими на душу грех,  
когда ты мрачный и разбитый,  
там, за стеною, чей-то смех  
сочешь завистливо обидой.

Как равновесье — бытиё.  
В нем зависть — самооскорбленье.  
Ведь за несчастье твоё  
чужое счастье — искупленье.

Желай, чтоб в час последний твой,  
когда замрут глаза, смыкаясь,  
смеялись люди за стеной,  
смеялись, всё-таки смеялись!

*5 апреля 1963, Коктебель*





\* \* \*

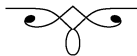
Паровозный гудок,  
журавлиные трубы,  
и зубов холодок  
сквозь раскрытые губы.

До свиданья, прости,  
отпусти, не неволь же!  
Разойдутся пути  
и не встретятся больше.

По дорогам весны  
поезда будут мчаться,  
и не руки, а сны  
будут ночью встречаться.

Опустевший вокзал  
над сумятицей судеб...  
Тот, кто горя не знал,  
о любви пусть не судит.

*1951*





## ВАЛЬС НА ПАЛУБЕ

Спят на борту грузовики,  
спят  
краны.  
На палубе танцуют вальс  
бахилы,  
кеды.  
Все на Камчатку едут здесь —  
в край  
крайний.  
Никто не спросит: «Вы куда?» —  
лишь:  
«Кем вы?»  
Вот пожилой мерзлотовед.  
Вот  
парни —  
торговый флот — танцуют лихо:



есть  
опыт!  
На их рубашках Сингапур,  
пляж,  
пальмы,  
а въелись в кожу рук металл,  
соль,  
копоть.  
От музыки и от воды  
плеск,  
звоны.  
Танцуют музыка и ночь  
друг  
с другом.  
И тихо кружится корабль,  
мы,  
звезды,  
и кружится весь океан  
круг  
за кругом.  
Туманен вальс, туманна ночь,  
путь  
дымчат.

С зубным врачом танцует  
кок  
Вася.  
И Надя с Мартой из буфета  
чуть  
дышат —  
и очень хочется, как всем,  
им  
вальса.  
Я тоже, тоже человек,  
и мне  
надо,  
что надо всем. Быть одному  
мне  
мало.  
Но не сердитесь на меня  
вы,  
Надя,  
и не сердитесь на меня  
вы,  
Марта.  
Да, я стою, но я танцую!  
Я

в роли  
довольно странной, правда, я  
в ней  
часто.  
И на плече моем руки  
нет  
вроде,  
и на плече моем рука  
есть  
чья-то.  
Ты далеко, но разве это  
так  
важно?  
Девчата смотрят — улыбнусь  
им  
бегло.  
Стою — и все-таки иду  
под плеск  
вальса.  
С тобой иду! И каждый вальс  
твой,  
Белла!  
С тобой я мало танцевал,

и лишь  
выпив,  
и получалось-то у нас —  
так  
слабо.  
Но лишь тебя на этот вальс  
я  
выбрал.  
Как горько танцевать с тобой!  
Как  
сладко!  
Курилы за бортом плывут,..  
В их складках  
снег  
вечный.  
А там, в Москве, — зеленый парк,  
пруд,  
лодка.  
С тобой катается мой друг,  
друг  
верный.  
Он грустно и красиво врет,  
врет

ловко.  
Он заикается умело.  
Он  
молит.  
Он так богато врет тебе  
и так  
бедно!  
И ты не знаешь, что вдали,  
там,  
в море,  
с тобой танцую я сейчас  
вальс,  
Белла.

1957





## ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

*Маше,  
подарившей мне с тех пор,  
как было написано это стихотворение,  
двух сыновей: Митю и Женю*

Последняя попытка стать счастливым,  
припав ко всем изгибам, всем извивам  
лепечущей дрожащей белизны  
и к ягодам с дурманом бузины.

Последняя попытка стать счастливым,  
как будто призрак мой перед обрывом  
и хочет прыгнуть ото всех обид  
туда, где я давным-давно разбит.

Там на мои поломанные кости  
присела, отдыхая, стрекоза,

и муравьи спокойно ходят в гости  
в мои пустые бывшие глаза.

Я стал душой. Я выскользнул из тела,  
я выбрался из крошева костей,  
но в призраках мне быть осточертело,  
и снова тянет в столько пропастей.

Влюбленный призрак пострашнее трупа,  
а ты не испугалась, поняла,  
и мы, как в пропасть, прыгнули друг в друга,  
но, распростерши белые крыла,  
нас пропасть на тумане подняла.

И мы лежим с тобой не на постели,  
а на тумане, нас держащем еле.  
Я — призрак. Я уже не разобьюсь.  
Но ты — живая. За тебя боюсь.

Вновь кружит ворон с траурным отливом  
и ждет свежинки — как на поле битв.  
Последняя попытка стать счастливым,  
последняя попытка полюбить.

*1986, Петрозаводск*



## ДОПОТОПНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Человек седой, но шумный,  
очень добрый, но неумный,  
очень умный, молодой,  
с громогласными речами,  
с черносливными очами  
и библейской бородой.

Раскулачивал в тридцатых,  
выгребая ржи остаток  
по сараям, по дворам.  
Был отчаянно советский,  
изучал язык немецкий  
и кричал: «Но пасаран!»

И остался он вчерашним,  
на этапах и в шарашке,  
МОПРа бывшего полпред,



и судьбы своей несчастьем  
воспринять хотел как частность  
исторических побед.

Он постукивает палкой,  
снова занят перепалкой.  
Распесочить невтерпеж  
и догматика, и сноба.  
Боже мой — он верит снова,  
а во что — не разберёшь.

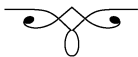
Ребе и полуребёнок,  
бузотёр, политработник,  
меценат, но без гроша.  
И не то чтоб золотая,  
но такая заводная,  
золотистая душа.

Гениален, без сомнений,  
он, хотя совсем не гений,  
но для стольких поколений  
он — урок наверняка,  
весел, как апаш в Париже,

грустен, как скрипач на крыше,  
где с ним рядом — облака.

Он остался чистым-чистым  
интернационалистом  
и пугает чем-то всех  
тенью мопровской загробной  
неудобный, бесподобный  
допотопный человек.

1968





## КАИНОВА ПЕЧАТЬ

*Памяти Р. Кеннеди*

Брели паломники сирые  
в Мекку  
по серой Сирии.  
Скрюченно и поломанно  
передвигались паломники,  
от наваждений  
и хаоса —  
каяться,  
каяться,  
каяться.  
А я стоял на вершине  
грешником  
нераскаянным,  
где некогда —

не ворошите! —  
Авель убит был Каином.  
И — самое необычайное  
из всех сообщений кровавых,  
слышалось изначально:  
«Каин,  
где брат твой, Авель?»  
Но вдруг —  
голоса фарисейские,  
фашистские,  
сладко-злодейские:  
«Что вам виденья отжитого?  
Да, перегнули с Авелем.  
Конечно, была ошибочка,  
но, в общем-то, путь был правилен...»  
И мне представился каменный  
угрюмый детдом,  
где отравленно  
кормят детёныши Каиновы  
с ложечки ложью —  
Авелевых.  
И проступает,  
алая,

когда привыкают молчать,  
на лицах детей Авеля  
каинова печать.  
Так я стоял на вершине  
меж праотцев и потомков  
над миром,  
где люди вершили  
растленье себе подобных.  
Безмолвнйно было,  
безгромно,  
но камни зывали ребристо:  
«Растление душ бескровно,  
но это —  
братоубийство».

А я на вершине липкой  
стоял,  
ничей не убийца,  
но совесть  
библейской уликой  
зывала:  
«Тебе не укрыться!  
Свой дух растлеваешь ты ложью,

и дух крошится,  
дробится.  
Себя убивать —  
это тоже братоубийство.  
А скольких женщин  
ты сослепу  
в пути растоптал,  
как распятыя.  
Ведь женщины —  
твои сестры,  
а это больше,  
чем братья.  
И чьи-то серые,  
карие  
глядят на тебя  
без пощады,  
и вечной печатью каиновой  
ко лбу прирастают взгляды...  
Что стоят гусарские тосты  
за женщин?  
Бравада, отписка...  
Любовь убивать —  
это тоже братоубийство...»

Я вздрогнул:  
«Совесьть, потише...  
Ведь это же несравнимо,  
как сравнивать цирк для детишек  
с кровавыми цирками Рима».

Но тень измождённого Каина  
возникла у скал угловато,  
и с рук нескончаемо капала  
кровь убиенного брата.

«Взгляни —  
мои руки кровавы.  
А начал я с детской забавы.  
Крылья бабочек бархатных  
ломал я из любопытства.  
Всё начинается с бабочек.  
После —  
братоубийство».

И снова сказала,  
провидица,  
с пророчески-горькой печалью

совесть моя —  
хранительница  
каиновой печати:  
«Что вечности звёздной, безбрежной  
ты скажешь,  
на суд её явленный?  
«Конечно же, я не безгрешный,  
но, в общем-то, путь мой правилен»?  
Ведь это возводят до истин  
все те, кто тебе ненавистен,  
и человечинной жжёной  
«винстоны» пахнут  
и «кенты»,  
и пуля,  
пройдя сквозь Джона,  
сражает Роберта Кеннеди.  
И бомбы землю пытаются,  
сжигая деревни пламенем.  
Конечно, в детей попадают,  
но, в общем-то, путь их правилен...  
Каин во всех таится  
и может вырасти тайно.  
Единственное убийство



священно —  
убить в себе Каина!»

И я на вершине липкой  
у вечности перед ликом  
развѣрз мою грудь неприкаянно,  
душа  
в зародыше  
Каина.  
Душил я всё подлое,  
злое,  
всё то, что может быть подло,  
но крылья бабочек сломанные  
соединить было поздно.  
А ветер хлестал наотмашь,  
невидимой кровью намокший,  
как будто страницы Библии  
меня  
по лицу  
били...

1967



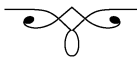
\* \* \*

Не понимаю,  
что со мною случилось?  
Усталость, может, —  
может, и усталость.  
Расстраиваюсь быстро  
и грустнею,  
когда краснеть бы нечего —  
краснею.  
А вот со мной недавно было в ГУМе,  
да, в ГУМе,  
в мерном рокоте  
и гуле.  
Там продавщица с завитками хилыми  
руками неумелыми и милыми  
мне шею обернула сантиметром.  
Я раньше был несклонен к сантиметрам,  
а тут гляжу,

и сердце болью сжалось,  
и жалость,  
понимаете вы,  
жалость  
к ее усталым чистеньким рукам,  
к халатику  
и хилым завиткам.  
Вот книга...  
Я прочесть ее решаю!  
Глава —  
ну так,  
обычная глава,  
а не могу прочесть ее —  
мешают  
слезами заслоненные глаза.  
Я все с собой на свете перепутал.  
Таюсь,  
боюсь искусства, как огня.  
Виденья Малапаги,  
Пера Гюнта, —  
мне кажется,  
все это про меня.  
А мне бубнят,

и нету с этим сладу,  
что я плохой,  
что с жизнью связан слабо.  
Но если столько связано со мною,  
я что-то значу, видимо,  
и стою?  
А если ничего собой не значу,  
то отчего же  
мучаюсь и плачу?!

1956





## КОРОВЫ

Все в чулках речного ила —  
помню — тихо шли стада,  
а когда все это было —  
не могу сказать когда.  
Масти черной, масти пегой  
шли коровы под горой...  
Год был вроде сорок первый  
или год сорок второй.  
Не к врачам, не для поправки,  
все в репейнике, в пыли,  
их к вагонам для отправки  
молча школьники вели.  
И со всеми я, усталый,  
замыкающий ряды,

шел в буденовке линиялой  
с темным следом от звезды...  
Ах, коровы, ах, коровы!  
Как вносили вы в луга,  
словно царские короны,  
ваши белые рога!  
Вы тихонечко мычали,  
грустно терлись о кусты  
или попросту молчали  
и роняли с губ цветы...  
А теперь — коров к вагонам  
подводили, и бойцы  
с видом — помню — чуть смущенным  
с них снимали бубенцы.  
Рядом пили, рядом пели,  
но открылся путь вдали,  
и вагоны закрипели,  
закрипели и пошли.  
И какой-то оробелый  
с человеческим лицом  
в дверь смотрел теленок белый  
рядом с худеньким бойцом.  
Он глядел, припав к шинели,

на поля и на леса,  
а глаза его синели,  
как Есенина глаза...

*12 ноября 1957*





## ИСПОВЕДАЛЬНЯ

Окошечко исповедальни.  
Сюда, во благостную тьму,  
потёртый лик испитой дамы  
с надеждой тянется к нему.

Дитя неапольских окраин  
в сторонке очереди ждёт,  
раскрытой Библией скрывая  
свой недвусмысленный живот.

Без карабина и фуражки  
карабинер пришёл на суд,  
и по спине его мурашки  
под формой грозною ползут.



Несут хозяйки от лоханей,  
от ипподромов игроки  
и то, что кажется грехами,  
и настоящие грехи.

А где моя исповедальня?  
Куда приду, смиряя страх,  
с греховной пылью, пылью дальней  
на заблудившихся стопах?

Я позабуду праздность, леность,  
скажите адрес — я найду.  
Но исповедоваться лезут  
уже ко мне, как на беду.

Чему научит исповедник  
заблудших, совестью больных,  
когда и сам он из последних  
пропащих грешников земных?!

Мы ближним головы морочим,  
когда с грехами к нам бегут.  
Но говорят, что люди, впрочем,  
вовсю на исповедах лгут.

А исповедник, это зная,  
и сам спасительно им лжёт,  
и ложь уютная, двойная  
приятно нежит, а не жжёт.

Но верить вере я не вправе,  
хоть лоб о плиты размозжи,  
когда, почти как правда правде,  
ложь исповедуется лжи.

*1965*





\* \* \*

Достойно, главное, достойно  
Любые встретить времена,  
Когда эпоха то застойна,  
То взбаламучена до дна.

Достойно, главное, достойно,  
Чтоб раздаватели щедрот  
Не довели тебя до стойла  
И не заткнули сеном рот.

Страх перед временем — паденье,  
На трусость душу не потратить,  
Но приготовь себя к потере  
Всего, что страшно потерять.

И если всё переломалось,  
Как невозможно предрешить,  
Скажи себе такую малость:  
«И это надо пережить...»

*10 февраля 1976*





\* \* \*

Есть пустота от смерти чувств  
и от потери горизонта,  
когда глядишь на горе сонно  
и сонно радостям ты чужд.  
Но есть иная пустота.  
Нет ничего ее священной.  
В ней столько звуков и свечений.  
В ней глубина и высота.

Мне хорошо, что я в Крыму  
живу, себя от дел отринув,  
в несуетящемся кругу,  
кругу приливов и отливов.

Мне хорошо, что я ловлю  
на сизый дым похожий вереск,

и хорошо, что ты не веришь,  
как сильно я тебя люблю.

Иду я в горы далеко,  
один в горах срываю груши,  
но мне от этого не грустно, —  
вернее, грустно, но легко.

Срываю розовый кизил  
с такой мальчишескостью жадной!  
Вот он по горлу заскользил —  
продолговатый и прохладный.

Лежу в каком-то шалаше,  
а на душе так пусто-пусто,  
и только внутреннего пульса  
биенье слышится в душе.

О, как над всею суетой  
блаженна сладость напоенья  
спокойной светлой пустотой —  
предшественницей наполнения!

1960



\* \* \*

Я шатаюсь в толкучке столичной  
над веселой апрельской водой,  
возмутительно нелогичный,  
непростительно молодой.

Занимаю трамваи с бою,  
увлеченно кому-то лгу,  
и бегу я сам за собою,  
и догнать себя не могу.

Удивляюсь баржам бокастым,  
самолетам, стихам своим...  
Наделили меня богатством,  
Не сказали, что делать с ним.

1954



## ТРЕТИЙ СНЕГ

*С. Щипачеву*

Смотрели в окна мы, где липы  
чернели в глубине двора.  
Вздохали: снова снег не выпал,  
а ведь пора ему, пора.

И снег пошел, пошел под вечер.  
Он, покидая высоту,  
летел, куда подует ветер,  
и колебался на лету.

Он был пластинчатый и хрупкий  
и сам собою был смущен.  
Его мы нежно брали в руки  
и удивлялись: «Где же он?»



Он уверял нас: «Будет, знаю,  
и настоящий снег у вас.  
Вы не волнуйтесь — я растаю,  
не беспокойтесь — я сейчас...»

Был новый снег через неделю.  
Он не пошел — он повалил.  
Он забивал глаза метелью,  
шумел, кружил что было сил.

В своей решимости упрямой  
хотел добиться торжества,  
чтоб все решили: он тот самый,  
что не на день и не на два.

Но, сам себя таким считая,  
не удержался он и сдал.  
и если он в руках не таял,  
то под ногами таять стал.

А мы с тревогою все чаще  
опять глядели в небосклон:  
«Когда же будет настоящий?  
Ведь все же должен быть и он».

И как-то утром, вставши сонно,  
еще не зная ничего,  
мы вдруг ступили удивленно,  
дверь отворивши, на него.

Лежал глубокий он и чистый  
со всею мягкой простотой.  
Он был застенчиво-пушистый  
и был уверенно-густой.

Он лег на землю и на крыши,  
всех белизною поразив,  
и был действительно он пышен,  
и был действительно красив.

Он шел и шел в рассветной гамме  
под гуд машин и храп коней,  
и он не таял под ногами,  
а становился лишь плотней.

Лежал он, свежий и блестящий,  
И город был им ослеплен.  
Он был тот самый. Настоящий.  
Его мы ждали. Выпал он.

1953



\* \* \*

Пахнет засолами,  
пахнет молоком.  
Ягоды засохлые  
в сене молодом.

Я лежу,  
чего-то жду  
каждую кровинкой,  
в темном небе  
звезду  
шевелю травинкой.

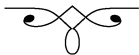
Все забыл,  
все забыл,  
будто напахался, —  
с кем дружил,

кого любил,  
над кем надсмехался.

В небе звездно и черно.  
Ночь хорошая.  
Я не знаю ничего,  
ничегошеньки.

Баловали меня,  
а я —  
как небалованный,  
целовали меня,  
а я —  
как нецелованный.

1956





\* \* \*

Бывало, спит у ног собака,  
костер занявшийся гудит,  
и женщина из полумрака  
глазами зыбкими глядит.

Потом под пихтою приляжет  
на куртку рыжую мою  
и мне,  
задумчивая,  
скажет:  
«А ну-ка, спой!..» —  
и я пою.

Лежит, отдавшаяся песням,  
и подпевает про себя,  
рукой с латышским светлым перстнем  
цветок алтайский теребя.

Мы были рядом в том походе.  
Все говорили, что она  
и рассудительная вроде,  
а вот в мальчишку влюблена.

От шуток едких и топорных  
я замыкался и молчал,  
когда лысеющий топограф  
меня лениво поучал:

«Таких встречаешь, брат, не часто.  
В тайге все проще, чем в Москве.  
Да ты не думай, что начальство!  
Такая ж баба, как и все...»

А я был тихий и серьезный  
и в ночи длинные свои  
мечтал о пламенной и грозной,  
о замечательной любви.

Но как-то вынес одеяло  
и лег в саду,  
а у плетня

она с подругою стояла  
и говорила про меня.

К плетню растерянно приникший,  
я услышал в тени ветвей,  
что с нецелованным парнишкой  
занятно баловаться ей...

Побрел я берегом туманным,  
побрел один в ночную тьму,  
и все казалось мне обманным,  
и я не верил ничему.

Ни песням девичьим в долине,  
ни воркованию ручья...  
Я лег ничком в густой полыни,  
и горько-горько плакал я.

Но как мое,  
мое владенье,  
в текучих отблесках огня  
всходило смутное виденье  
и наплывало на меня.

Я видел —  
спит у ног собака,  
костер занявшийся гудит,  
и женщина  
из полумрака  
глазами зыбкими глядит.

1956







\* \* \*

*Г. Маю*

Упала капля и пропала  
в седом виске...  
Как будто тихо закопала  
себя в песке...  
И дружба, и любовь не так  
ли соединены,  
как тающее тело капли  
внутри седины.  
Когда есть друг, то безлюбовье  
не страшно нам,  
хотя и дразнит бес легонько по  
временам.

Бездружье пропастью не станет,  
когда любовь

стеной перед обрывом ставит  
свою ладонь.  
Страшной, когда во всеоружье  
соединясь,  
и безлюбовье, и бездружье  
окажут нас.  
Тогда себя в разгуле мнимом  
мы предаем.  
Черты любимых нелюбимым  
мы придаем.  
Блуждая в боли, будто в поле,  
когда пурга,  
мы ищем друга поневоле  
в лице врага.  
Ждать утешения наивно  
из черствых уст.  
Выпрашивание чувств противно  
природе чувств.  
И человек чужой, холодный  
придет в испуг  
в ответ на выкрик сумасбродный:  
«Товарищ, друг!»  
И женщина вздохнет чуть слышно

из теплой мглы,  
когда признанья ваши лишни,  
хотя милы.  
И разве грех, когда сквозь смуту,  
грызню, ругню  
так хочется сказать кому-то:  
«Я вас люблю!»

1974

